

Д. ЛИТВИНОВ



идеальный
СНИМОК

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Дмитрий Литвинов
Идеальный снимок

«Автор»

2026

Литвинов Д.

Идеальный снимок / Д. Литвинов — «Автор», 2026

ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК Психологический триллер **Аннотация** Он снимает чужую боль. Он называет это искусством. Он говорит себе, что он просто наблюдатель. Алексей — свадебный фотограф, который однажды сделал кадр, изменивший всё. Теперь он одержим моментами истины — теми секундами, когда слетает маска и обнажается то, что люди прячут даже от себя. От уличных драк до секретных операций теневого правосудия — его объектив становится оружием, а голос — приговором. Но у каждой охоты есть цена. Когда Алексей добирается до последней цели, видеоискатель разворачивается. И теперь он сам — тот, за кем наблюдают. Психологический триллер о природе одержимости, цене выбора и зеркале, в которое страшно заглянуть. *18+*

© Литвинов Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Часть I. Видоискатель	6
Глава 1. Крысиный бег	6
Глава 2. Спусковой крючок	8
Глава 3. Хирургия	11
Глава 4. Галерея	15
Глава 5. Порог	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Идеальный снимок

Глава

Пролог. Идеальный снимок

Я — фотограф. Снимаю моменты, когда человек забывает, что на него смотрят. Когда маска сползает, а наружу вылезает правда.

Три месяца назад я увидел аварию: девушка сбила велосипедиста. Она кричала, звала на помощь. Я поднял камеру и сделал кадр. Её глаза — чистый ужас. Никакой игры. Настоящее.

Я думал, это предел. Ошибался.

Во вторник я ехал по мосту и заметил мужчину у перил. Закатный свет. Золотой контур. Он плакал. Я снимал, пока он перелезал через ограждение. Мог крикнуть. Не крикнул. Он обернулся, увидел меня, увидел камеру — и улыбнулся. С презрением. Шагнул.

Я нажал на спуск. Шедевр.

Теперь я не сплю ночами. Кто я — художник или хищник? Не знаю. Но свет сегодня снова хорош. И где-то там, за окном, новая драма. Камера заряжена. Искусство требует жертв.

Я просто делаю свою работу.

Часть I. Видоискатель

Глава 1. Крысиный бег

Свадьба дышала в затылок перегаром и кислым шампанским.

Я стоял у колонны, обтянутой дешёвым белым атласом, и смотрел, как жених — лысеющий, потный, в съехавшем набок галстук — пытается изобразить страсть. Его ладонь лезла невесте под платье, та хихикала и отводила руку, но не слишком решительно. Гости орали «горько». Тамада, красномордый мужик с золотой цепью поверх рубашки, дудел в дудку. Софиты мигали, как предсмертная агония.

Я ненавидел их всех.

Ненавидел эту лепнину из пенопласта, с которой свисали пожухлые шары. Ненавидел запах — смесь духов «Красная Москва», пота и подгоревшего мяса из кухни. Ненавидел своё отражение в зеркальной колонне: мужик за тридцать, с камерой наперевес, с застывшей улыбкой, которую он натягивает как презерватив — для защиты.

Мне тридцать два. У меня диплом ВГИКа, который лежит в ящике стола и, кажется, уже покрылся плесенью. У меня жена Катя — женщина, которая ещё верит, что я «творческая личность в поиске». Она всё ещё задаёт вопросы про мои проекты, всё ещё всматривается в моё лицо по вечерам, пытаюсь найти там того парня, за которого выходила. Того, кто говорил, что станет великим фотографом. Того, кто ещё умел смеяться.

Тот парень умер. Я не знаю когда. Может, в первую брачную ночь. Может, когда мы взяли ипотеку. Может, когда я в сотый раз нажал на спуск, снимая чужое счастье, в которое не верил.

У меня ипотека, которую надо платить каждый месяц. У меня старая «Мазда», которая жрёт масло. У меня геморрой от сидячей работы и гастрит от фастфуда на заправках. У меня мечта — когда-нибудь снять что-то настоящее.

Но настоящее не приходит на свадьбы. Настоящее не позирует перед камерой с букетом из роз, купленных в переходе. Настоящее — это когда человек забывает, что на него смотрят. Когда маска сползает, как косметика под дождём, и наружу вылезает то, что он прячет даже от себя.

Я искал это настоящее пятнадцать лет. И нашёл его случайно, дождливым вечером в сентябре.

Дождь хлестал по лобовому стеклу так, что дворники не справлялись. Я возвращался с юбилея какой-то чиновницы — снимал, как гости дарили конверты с деньгами, как именинница к концу вечера так наклюкалась, что уснула лицом в салате. Я не стал это снимать. Дурак. Тогда я ещё думал, что есть вещи, которые нельзя фотографировать.

В машине пахло сыростью и остывшим кофе. В пепельнице лежали три бычка — я бросил курить два года назад, но в тот вечер сорвался. Руки дрожали — не от никотина, от усталости. Я крутил руль, смотрел на мокрый асфальт и думал, что жизнь — это бесконечная череда одинаковых дней, нанизанных на нитку, как дешёвые бусы.

Перекрёсток. Красный свет. Я остановился и потянулся к телефону — проверить, не написала ли Катя. Она писала редко. Мы оба разучились писать друг другу просто так.

И тут — удар.

Звук был такой, будто кто-то с размаху шарахнул металлической битой по капоту — только это был не мой капот. Я поднял голову и увидел, как что-то — нет, кто-то — перелетает через велосипед и падает на асфальт метрах в десяти от меня. Тело ударилось о землю с глухим, влажным шлепком, какой бывает, когда роняешь сырое мясо на кафель.

Девушка за рулём «Фольксвагена» выскочила из машины, даже не заглушив двигатель. Её дверь осталась распахнутой настежь, и дворники всё так же елозили по стеклу, размазывая дождь. Она сделала два шага к лежащему телу и замерла, как вкопанная. Её рот открылся, но крик застрял где-то в горле.

Свет фар выхватывал её лицо, как прожектор — актрису на сцене. Я видел каждую деталь: руки, взлетевшие к подбородку, побелевшие костяшки, обкусанный маникюр. Глаза, расширенные так, что зрачки заняли почти всю радужку. Тушь, которая уже потекла от дождя или от слёз — чёрные дорожки на щеках, похожие на трещины на фарфоровой кукле.

Моя рука дёрнулась к бардачку. Там лежала камера — старая добрая Canon 5D, которую я всегда таскал с собой. Не потому что ждал чего-то. А потому что фотограф без камеры — как голый человек на морозе: вроде живой, но беззащитный.

Я выскочил из машины. Дождь ударил по лицу, потёк за шиворот. Я сжимал камеру, чувствуя знакомую тяжесть, холод металла, шершавость резиновой накладки. Тело действовало быстрее мозга — я уже поднимал объектив, уже наводил фокус, уже искал ракурс.

— Помогите! — закричала девушка, заметив меня. — Вызовите скорую! Пожалуйста!

Я не слышал её. В видоискателе её лицо было идеальным. Дождь создавал фон — серебристую рябь. Свет фар рисовал резкие тени. А в глазах горело такое отчаяние, какого я не видел никогда. Это была не поза. Не игра. Это была чистая, незамутнённая правда.

Щёлк.

Затвор сработал. Я обходил её по кругу, как акула, и снимал — серийно, жадно. Крупный план глаз. Дрожащие пальцы, прижатые к губам. Брызги дождя на волосах. Парень на асфальте — неестественно вывернутая нога, струйка крови, смешивающаяся с водой.

— Вы! — она заметила, что я снимаю. — Какая, к чёрту, камера?! Вызывайте скорую!

Я опустил камеру. Реальность вернулась рывком. Я сунул камеру под куртку и достал телефон.

Дальше всё было как в тумане. Приехали врачи, потом полиция. Меня допросили как свидетеля. Я отвечал односложно, механически. Девушка рыдала, прижимая к лицу платок. Парня увезли на носилках — живой, кажется.

Когда я вернулся домой, Катя уже спала. Я снял мокрую одежду, прошёл в кабинет, включил компьютер. Открыл карту памяти. И замер.

На экране было оно. То самое. Картинка, от которой невозможно оторваться. Я увеличил кадр — и увидел в её зрачках отражение фар, собственное искажённое лицо и лежащего на асфальте парня.

Я просидел перед монитором до утра. И знаете, что я чувствовал?

Ни капли стыда. Ни грамма сочувствия. Только восторг. Чистый, как первый глоток спирта на голодный желудок. Я попробовал настоящее — и уже не мог насытиться фальшивкой.

В то утро я понял: охота началась.

Глава 2. Спускной крючок

Я не спал трое суток.

Вру. Спал — урывками, по сорок минут, проваливаясь в липкое забытье, из которого выдёргивал себя сам, как утопающий выдёргивает голову из воды. Катя ворочалась рядом, что-то бормотала во сне, а я лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, по которому ползла трещина — тонкая, извилистая, похожая на маршрут моего падения.

Та фотография стояла у меня везде. На рабочем столе. На телефоне. Я распечатал её на старом струйнике, который давно пора было выбросить, и повесил над столом. Девушка с аварии смотрела на меня из темноты, и в её расширенных зрачках я видел собственное отражение.

Я должен был повторить это. Не ради славы. Не ради денег. Ради того, чтобы снова почувствовать тот электрический разряд, который прошёл через меня, когда я нажал на спуск.

Но мир не желал подыгрывать.

В понедельник я поехал в центр и встал у пешеходного перехода. Выбрал точку, прикинул свет, настроил выдержку. Ждал четыре часа. Люди текли мимо — серые, одинаковые, как картонные фигуры в тире. Старуха споткнулась о бордюр. Я вскинул камеру, но она просто выругалась матом и пошла дальше. Молодая пара поссорилась у входа в метро — девушка швырнула в парня букетом, но эмоция была мелкой, дешёвой, как мыльная опера.

Во вторник я напросился в ночную смену «Скорой». Димон, мой старый знакомый, пожал плечами и сказал: «Валяй, только под ногами не мешайся». Я наснимал усталых врачей, пьяного бомжа с рассечённой бровью, бабуку с сердечным приступом. Но стоило мне поднять камеру, как фельдшер загораживал кадр спиной, а медсестра шипела: «Убери, не до тебя». Я был чужим на этом празднике боли.

В среду я сорвался. Просто ездил по городу, крутил руль, курил в открытое окно и ненавидел себя за беспомощность.

А в четверг я понял: ждать бессмысленно. Надо создавать.

Парк встретил меня запахом прелых листьев и жжёного сахара — у входа стоял ларёк с вафлями. Солнце висело низко, светило сквозь голые ветки косыми золотыми лучами. Режимное время — так это называют фотографы. Час, когда тени становятся длинными, а свет — мягким и безжалостным одновременно. Идеальное время для охоты.

Я знал этот парк как свои пять пальцев. По четвергам здесь собирались мамы с колясками, пенсионеры с шахматами и подростки на скейтах. А у пруда, в беседке, облупленной и пропахшей мочой, обычно тусовались подвыпившие компании.

Мне нужна была такая компания. Мне нужен был конфликт.

Я нашёл их у ларька с мороженым. Трое парней и две девушки, лет по двадцать, с банками дешёвого пива. Гоготали, матерились, кидали бычки в пруд. Девушки визжали, когда парни их щипали. Одна из них — крашенная блондинка с синяком на коленке — сидела на спинке скамейки и красила губы, глядя в осколок зеркала.

Я повесил камеру на шею и подошёл к ларьку. Заказал кофе, хотя не хотел. Просто чтобы занять руки. Сделал вид, что смотрю в телефон. Краем глаза следил за компанией.

— Э, слышь, папарацци! — голос разрезал воздух, как битое стекло.

Я обернулся. Кричал самый здоровый — в растянутой футболке с надписью «Спартак», с бычьей шеей и красными от алкоголя глазами.

— Чё снимаешь, а?

— Ничего. Птичек.

Я сказал это нарочно спокойно. Так спокойно, как говорят с теми, кого не считают равными. Это был расчёт: спокойствие бесит сильнее, чем ответная агрессия. Я знал это. Я рассчитывал на это.

— Птичек он снимает, — хмыкнул спартаковец и повернулся к друзьям. — А может, ты мою тёлку снимаешь, а? Может, ты извращенец?

Девушки захихикали. Блондинка показала мне средний палец.

Я поднял камеру и сделал кадр.

Щёлк.

Это был спусковой крючок. В переносном и в прямом смысле. Лицо спартаковца изменилось мгновенно — хмель выветрился, зрачки сузились, челюсть выдвинулась вперёд. Идеальная трансформация. Я снимал серийно, восемь кадров в секунду, пока он шёл ко мне, сокращая дистанцию. Три шага. Пять. Восемь.

— Ты охуел?!

Он схватил меня за объектив. Я видел его лицо в сантиметрах от моего: расширенные поры, красные прожилки в глазах, капилляры полопались от крика. Капля слюны в уголке рта. Запах перегара и лука.

Он замахнулся. Я не уворачивался. В последнюю секунду успел подумать: только бы камеру не разбил. Только бы камеру.

Удар пришёлся в скулу. Перед глазами вспыхнули искры — красные, жёлтые, белые. Я упал на одно колено, прижимая камеру к груди, как младенца. Второй удар — по затылку. Третий — ногой по рёбрам. Я считал удары и думал о светочувствительности матрицы. При такой тряске нужно ставить ISO повыше.

— Ты чё творишь, Дэн?! — визг блондинки.

— Пусть не снимает, мразь!

Ещё удар. По спине. Я свернулся калачиком, и мир сузился до размера моего тела, до вкуса крови на губах, до хруста собственных рёбер.

Потом топот ног. Мат. Звон разбитой бутылки. И тишина.

Я лежал на асфальте, прижимая камеру к груди, и улыбался. Разбитая губа саднила, солёный вкус крови тёк по подбородку. Но в груди, там, где должно быть сердце, разгорался огонь. Я сделал это. Я создал момент. Я был не просто свидетелем — я был режиссёром.

Дома Катя ахнула. Заставила меня сесть на табурет, принесла лёд, перекись, бинты. Её пальцы дрожали, когда она прикладывала компресс к моей скуле. От неё пахло гелем для душа, лавандой, домом. Я смотрел на неё и не чувствовал ничего, кроме нетерпения: скорее бы она ушла, скорее бы я остался один и открыл снимки.

— Лёша, кто это сделал? Надо в полицию!

— Хулиганы. Я их не знаю. Случайно вышло.

Она поверила. Она всегда верила. Потому что любила меня — того меня, которого больше не существовало.

Я закрылся в кабинете. Вставил карту памяти. Открыл кадр номер тридцать семь.

Лицо Дэна за секунду до удара. Чистая ярость. Без примесей. Без фильтров. Глаза, в которых не осталось ничего человеческого — только звериный, первобытный гнев. Это была правда — такая же, как у девушки с аварии, только другого спектра. Там был ужас, здесь — агрессия. Но частота была той же. Та же чистота сигнала.

Я распечатал кадр и повесил на стену. Рядом с первым.

В ту ночь я не спал. Я смотрел на два снимка и понимал: это только начало. Теперь я знаю, как это работает. Нужно быть внутри. Нужно провоцировать. Нужно становиться частью уравнения.

Стыда не было. Совесть молчала, как перерезанное горло. Было только возбуждение — чистое, холодное, как ртуть. Оно растекалось по венам и требовало продолжения.

На следующее утро я позвонил Димону.

— Слушай, есть разговор. Ты говорил, у вас там работы невпроворот. Я хочу посмотреть ещё раз. Поближе.

— Ближе некуда, там кровь, кишки. Тебе-то зачем?
Я улыбнулся в трубку.
— Для искусства.

Глава 3. Хирургия

Димон ждал меня у ворот городской больницы № 12. Курил, привалившись плечом к облупленной стене, на которой кто-то баллончиком вывел «Скорая — не помощь, а диагноз». Увидел мой синяк — желтовато-фиолетовый, уже третий день пошёл, расплзся на пол-лица, как грозовая туча, — и присвистнул.

— Ничего себе тебя разукрасили. Это те самые хулиганы?

— Они самые, — я пожал плечами и поправил камеру на груди. Синяк ныл при каждом движении челюсти, но боль была почти приятной. Как напоминание. Как сувенир с первой настоящей охоты.

— А камера?

— Камера цела.

Он хмыкнул и бросил бычок в урну, откуда пахло кислым пеплом и гниющими объедками. Мы прошли через проходную. Вахтёрша — грузная тётка с бигуди под косынкой — едва подняла голову от кроссворда. «Сканворд», — машинально отметил я. Восемь букв по горизонтали: «Чувство утраты». Потеря. Пять букв: «То, что нельзя вернуть». Время.

Коридор встретил нас запахом хлорки, горелого лука из столовой и ещё чем-то — сладковатым, тошнотворным, что бывает только в больницах. Запах страдания. Запах тел, которые борются или уже перестали. Мои ноздри раздувались, впитывая его. Я шёл за Димоном и чувствовал себя гончей, взявшей след.

— Значит так, — сказал он, понизив голос, пока мы огибали каталку с капельницей, — я начальству сказал, что ты фотограф-документалист. Собираешь материал про героические будни скорой. Зовут Алексей. Фамилия не важна. Снимаешь только с разрешения пациента. Понял?

— Понял.

— Без разрешения — ни-ни. Если кто пожалуется — меня уволят к чёртовой матери, а тебя закроют за незаконное вторжение. Мне проблемы не нужны. У меня ипотека.

Я снова кивнул, но его слова уже пролетали мимо, как мухи за стеклом. Я смотрел на двери палат, на каталки, на бледные лица пациентов в инвалидных креслах и чувствовал, как внутри нарастает голод. Где-то здесь, за одной из этих дверей, прямо сейчас происходил момент. Момент, который никто не снимает. Момент, который ждал меня.

Первые два вызова были пустыми.

Старуха с давлением под двести. Её лицо было сморщенным, как печёное яблоко, а глаза — выцветшие, водянистые — смотрели в потолок с равнодушием человека, который уже всё видел и ничего не ждёт. Я сделал пару кадров для отмазки и убрал камеру. Пусто.

Мужик на стройке, упавший с лесов. Сломанная ключица, мат слоями, как геологические породы. Он крыл прораба, технику безопасности, свою жену и весь белый свет. Я снимал, но чувствовал фальшь. Его злость была поверхностной, бытовой, как царапина на лакированном столе. Не глубина. Не бездна. Так, рябь на воде.

Настоящее пришло на третьем вызове.

ДТП на пересечении Садового и Тверской. Когда мы подъехали, там уже были пожарные. Две машины — одна всмятку, вторая перевёрнута на крышу и лежала, как мёртвый жук, растопырив колёса. В воздухе стоял запах бензина, жжёной резины и чего-то металлического — кровь, смешанная с дождём, пахнет именно так.

— Стой здесь, — бросил Димон и побежал к машинам.

Я не послушался. Я вышел из скорой, держа камеру наготове, и медленно, шаг за шагом, приблизился к месту. Искры от болгарки летели во все стороны, как злые светлячки. Пожарные орали друг другу команды, их лица были мокрыми от пота, несмотря на ноябрьский холод.

Я подошёл ближе. И увидел её.

Женщина на переднем сиденье. Её зажало между сработавшей подушкой безопасности и смятым металлом. Лицо было в крови, но глаза — открыты. Она смотрела не на пожарных, не на врачей. Она смотрела прямо на меня.

И в этом взгляде было всё.

Сначала я подумал: боль. Просто боль. Но нет — боль была только фоном, как шум дождя за окном. Главное лежало глубже. Страх. Не тот животный страх, который я видел у девушки с аварии. Другой. Страх женщины, которая знает, что может умереть, и в этот момент понимает: её жизнь была не тем, чем она её считала. Пустота. Одиночество. Сожаление о несделанном.

Я поднял камеру.

Щёлк. Общий план: искорёженный металл, пожарные, дым, и в центре — она.

Щёлк. Крупный план: лицо, залитое кровью, глаза, устремлённые прямо в объектив. Зрачки расширены, как чёрные дыры.

Щёлк. Деталь: её пальцы, вцепившиеся в ремень безопасности, побелевшие костяшки, обручальное кольцо на безымянном — простое, золотое, без камней.

— Отойди! — кто-то толкнул меня в плечо. Пожарный, в каске, с лицом, перепачканным сажей. — Не видишь, бензин течёт?! Хочешь взлететь на воздух вместе с ней?

Я отступил на шаг. Потом ещё на шаг. Пожарные вытащили женщину, переложили на носилки. Димон уже бежал с капельницей, что-то кричал про давление. Я стоял в стороне и отсматривал кадры на экране камеры.

Они дрожали у меня в руках как живые.

Второй раз за этот вечер. Сначала ДТП, теперь это. Что-то внутри меня перещёлкнулось с тихим, окончательным звуком — так ломается предохранитель, когда ток превышает предел. Раньше я ждал, пока случай подвернёт мне сюжет. Теперь я понял: случай — это математика. Больше выездов — больше шансов. Больше шансов — больше кадров. Я должен быть везде, где больно. Везде, где страшно. Везде, где люди перестают быть людьми и становятся просто мясом.

— Алло? — голос из приёмного покоя. — Привезли пострадавшую, готовьте операционную.

Я поднял голову. Мы уже были в больнице. Женщину везли по коридору на каталке, и колёса скрипели в такт плачущим приборам. Капельница качалась, как маятник. Я шёл следом, не думая, не планируя. Просто шёл, потому что там, за дверями операционной, мог случиться ещё один момент.

В приёмном покое было шумно. Врачи перекрикивались, медсёстры бегали с анализами, кто-то стонал за ширмой, кто-то матерился вполголоса. Я шёл за каталкой, пока дорогу мне не преградила фигура.

— Ты кто такой?

Я опустил камеру.

Передо мной стояла девушка в голубом медицинском костюме. Лет двадцать пять. Волосы собраны в тугий пучок на затылке, но несколько прядей выбились и прилипли ко лбу — видимо, смена была долгой, а кондиционер не работал. На бейдже значилось: «Вера. Медсестра приёмного отделения».

— Фотограф, — сказал я. — Снимаю проект о скорой помощи.

— Фотограф, — повторила она, пробуя слово на вкус, как пробуют сомнительное лекарство. В её интонации был скепсис пополам с любопытством. — И что, интересно?

— Что именно?

— Снимать, как люди умирают. — Она не спрашивала. Она ставила диагноз.

— Я снимаю не смерть. Я снимаю правду.

Она коротко хмыкнула. Её серые глаза — я только сейчас заметил, что они серые, как ноябрьское небо, — смотрели на меня в упор, не мигая.

— Правду он снимает. Слушай, правдуроб. У нас тут реанимация, а не галерея. Если хочешь правды — иди в морг. Там её навалом, на любой вкус. А здесь люди ещё живут. Иногда.

— Я не за смертью. Я за моментами. Ты их видишь каждый день; я хочу, чтобы их увидели другие.

— Моменты? — она криво усмехнулась. — Хочешь момент? В третьей палате мужик узнал, что у него рак, и пытался повеситься на простыне. Санитары не дали. Сейчас лежит привязанный. Вот тебе момент.

Я открыл рот, чтобы ответить, но она уже отвернулась и пошла к каталке с женщиной из аварии. Я смотрел ей вслед и чувствовал странное беспокойство — смесь раздражения и заинтересованности. Она за пять минут увидела то, что я прятал от всех. Даже от себя.

Я запомнил её. Вера.

Женщину из аварии спасли. Операция длилась четыре часа. Я ждал в коридоре, сидя на жёстком пластиковом стуле, и слушал больницу. Она дышала вокруг меня, как огромный зверь: скрипела каталками, пищала приборами, шептала голосами врачей. В три часа ночи в коридоре стало тихо. И в этой тишине я услышал шаги. Мягкие, почти кошачьи.

Вера села рядом. В руках у неё был бумажный стаканчик с кофе.

— Держи. Выглядишь как труп.

Я взял кофе. Он был горячим, обжигал пальцы сквозь тонкий картон. Пахло растворимым порошком и одиночеством.

— Зачем тебе это? — спросила она без всякого перехода.

— Проект.

— Проект, — она снова усмехнулась, но на этот раз в усмешке было меньше яда. — Я тут пять лет работаю. Видела всяких. Студентов-медиков, которые падают в обморок при виде крови. Санитаров, которые крадут лекарства. Родственников, которые надеются до последнего. Хирургов, которые специально зашивают салфетки внутри. И знаешь, что я поняла?

— Что?

— Никто сюда не приходит просто так. Всех что-то толкает. Деньги. Вина. Долг. Или другое. Тёмное. Что-то, о чём не говорят вслух.

Она повернулась ко мне. Её серые глаза смотрели прямо в душу, и я почувствовал себя голым. Как будто она видела все мои снимки, все мои мысли, всё то, что я прятал за словом «проект».

— У тебя это есть. Тёмное. Я вижу такие вещи. Это профессиональное.

— И что же ты видишь?

— Вижу человека, который носит камеру как щит. Который смотрит на чужую боль, чтобы не чувствовать свою. Который приходит сюда не ради выставки. А ради чего-то ещё. Чего-то, о чём он сам пока не знает.

Повисла пауза. Где-то за стеной запищал кардиомонитор — ровно, спокойно. Жизнь продолжалась.

— Ты не ошибаешься, — сказал я. — Но и не права.

— В чём?

— Я знаю, зачем я здесь. Просто не готов это сказать вслух.

Она кивнула. Не стала допрашивать. Просто встала, сунула сигарету за ухо и пошла к ординаторской.

— Приходи ещё, — бросила она через плечо. — Тут всегда есть что снимать. И если захочешь — покажи потом. Мне интересно.

— Что именно?

— То, что ты видишь. То, чего не видит никто.

Она ушла. Я остался сидеть в пустом коридоре, сжимая остывший кофе, и впервые за долгое время почувствовал себя понятым.

И это пугало меня больше, чем собственная одержимость.

Глава 4. Галерея

Три недели пролетели как в лихорадке.

Я стал частью больничного пейзажа — привычной тенью, которая скользит по коридорам, не привлекая внимания. Вахтёрша больше не спрашивала пропуск, только кивала, не поднимая головы от кроссворда. Санитарка тётя Зина, приносившая мне чай, смотрела с жалостью и подкладывала лишний кусок сахара. Даже охранник Коля, бывший мент, уволенный за пьянство, перестал проверять мою сумку — просто махал рукой: проходи, мол, художник.

Я отснял ещё три ДТП, два инфаркта, одну неудачную попытку суицида и десятков бытовых драк. Каждый вечер я садился за компьютер и пополнял коллекцию. Отдельная папка на рабочем столе. Двойное дно. Зашифрованный раздел на жёстком диске. Пароль — двадцатизначная комбинация из цифр, букв и символов, которую я не записывал нигде, только хранил в голове, как хранят номер счёта в швейцарском банке или имя первой любви.

Катя спрашивала, почему я поздно прихожу. Я бормотал что-то про внеурочную работу. Она больше не спорила. Просто смотрела на меня долгим, изучающим взглядом, а потом отворачивалась к телевизору. Между нами росла стена — кирпич за кирпичом, день за днём. Я сам складывал эту стену и сам же удивлялся, что она меня больше не видит.

Но проблема была в другом. Проблема, которую я осознал в начале четвёртой недели около трёх часов ночи, когда сидел перед монитором с красными от недосыпа глазами и прокручивал отснятое.

Кадры повторялись.

Тот же страх. Та же боль. Те же гримасы. Разные лица — да. Разные обстоятельства — да. Но эмоции были одинаковыми. Я мог бы составить коллаж: десять фотографий плачущих женщин, и никто бы не заметил разницы. Пять снимков агрессии — как под копирку. Три ужаса — стандарт, шаблон.

Я насытился. Как гурман, который объелся одним и тем же блюдом и теперь брезгливо отодвигает тарелку. Мне нужно было что-то другое. Что-то глубже. Что-то, чего я ещё не пробовал.

Тёмное.

Вера сказала тогда, в коридоре: у тебя есть тёмное. Она была права. Но я ещё даже не начинал его использовать.

В пятницу вечером я пригласил её к себе.

Это был риск. Просчитанный, но риск. Вера — единственный человек, который видел меня насквозь. Если она захочет — она может меня уничтожить. Одно слово главврачу — и меня выкинут из больницы. Одно слово Кате — и мой брак развалится. Одно слово куда надо — и я сяду за вмешательство в частную жизнь, за съёмку без согласия, за вуайеризм, за что угодно.

Но я почему-то знал, что она не скажет. Я чувствовал это нутром — тем самым тёмным нутром, которое она разглядела раньше меня самого.

Она пришла в субботу днём. Катя была у матери — я специально выбрал этот день. Вера вошла в прихожую и огляделась, как оглядывают музейный зал, куда пришли впервые и пока не знают, стоит ли входной билет потраченных денег.

Потёртый паркет с щелями, в которые вечно забивалась пыль. Книжные полки вдоль стены — классика, до которой никому не было дела. Мой старый велосипед у двери. Катин зонтик с цветочным узором. Запах вчерашнего ужина и пыли, которую никто не вытирал уже неделю.

— Мило, — сказала Вера без улыбки.

— Уютно, — поправил я.

— Уютно — это когда есть кот. У тебя кота нет. Значит, мило.

Я провёл её в кабинет. Закрыл дверь на щеколду — привычка, выработавшаяся за последние недели. Пододвинул стул.

— Садись.

Она села, сцепив пальцы на колене. Я включил монитор. Открыл папку.

— Я хочу, чтобы ты посмотрела.

— Зачем?

— Ты поймёшь.

Первый кадр — девушка с аварии. Тот самый. Крупный план глаз, отражение фар в лучах. Вера посмотрела. Ничего не сказала. Только дыхание стало чуть глубже.

Второй — спартаковец Дэн за секунду до удара. Ярость в чистом виде. Вера чуть наклонила голову. Ничего.

Третий — женщина из искорёженной машины. Пальцы на ремне, кольцо. Вера выдохнула. Но не так, как выдыхают от ужаса. Скорее — как выдыхают, когда наконец-то видят то, что давно искали.

Я показал ещё двадцать кадров. Хроника боли. Архив отчаяния. Библиотека всего, что люди прячут за улыбками. Каждый снимок был как удар — точный, выверенный, в одно и то же место. И Вера принимала эти удары молча, не отводя глаз.

Когда я закончил, она долго молчала. За окном шумел город — далёкий, равнодушный. В комнате гудел процессор. Пахло пылью и одиночеством.

— Ты это снял сам? — спросила она наконец.

— Сам.

— Ты был там? В каждый из этих моментов?

— Да.

Она повернулась ко мне. В её серых глазах я увидел не осуждение. Не страх. Что-то другое. Что-то похожее на узнавание.

— Я знала это, — сказала она тихо. — С первого дня знала.

— Что именно?

— Что ты не просто фотограф. Ты — охотник. Ты идёшь по следу, пока остальные спят. Ты смотришь туда, куда остальные боятся заглянуть. Ты показываешь людям то, что они прячут. Только они об этом не знают.

Я молчал. Она попала в точку, и от этого было больно — как будто кто-то надавил на синяк, о котором ты почти забыл.

— Но есть проблема, — продолжила Вера. — Твои кадры... они однообразные. Боль. Страх. Агрессия. Это всё поверхность. Ты снимаешь момент, когда человек уже падает. А настоящее — оно до того. Настоящее — это когда человек знает, что упадёт, но ещё не упал. Когда он смотрит на край. Когда он решает.

У меня пересохло в горле. Она говорила именно то, что я чувствовал последние дни. То, что я не мог сформулировать. То, что вертелось на языке, но не находило слов.

— Момент выбора, — сказал я.

— Да. Момент, когда человек решает. И ты видишь это в его глазах. Не падение. А решение упасть.

Мы замолчали. Тишина в комнате стала плотной, почти осязаемой. Я смотрел на Веру и понимал: она опаснее, чем я думал. Она не просто понимает меня. Она может вести меня дальше, глубже, в такие слои тьмы, о которых я даже не подозревал.

— Откуда ты это знаешь? — спросил я.

Вера выдержала паузу. Потом закатала рукав медицинского костюма. На внутренней стороне предплечья, чуть ниже локтевого сгиба, белели шрамы. Аккуратные, ровные, параллельные друг другу. Такие не оставляют случайно. Такие оставляют, когда хотят что-то вспомнить. Или что-то забыть.

— Я знаю, как выглядит момент выбора. Я смотрела на него много раз. В зеркало. В лезвие. В темноту за окном.

Я ничего не сказал. Просто опустил глаза, а потом снова поднял их на неё.

— Я хочу снимать это, — сказал я. — Момент выбора. Но такие вещи не происходят в приёмном покое. В больницу люди попадают уже после. Мне нужно быть раньше. Гораздо раньше.

— Я знаю одно место, — сказала она. — Хоспис за городом. Там люди, которые уже всё решили. Но до конца ещё не дошли. Они живут в промежутке. Каждый день — момент выбора. Каждую минуту они решают: держаться или отпустить. Там ты найдёшь то, что ищешь.

Хоспис.

Слово упало между нами, как камень в воду. Круги расходились в тишине. Я смотрел на Веру и понимал: она не просто даёт мне адрес. Она даёт мне ключ. Ключ к следующему уровню.

— Ты можешь меня провести?

— Могу. Я там волонтером по вторникам. Но у меня одно условие.

— Какое?

Она встала. Подошла к двери. Обернулась на пороге. В её глазах — впервые за всё время — я увидел не скепсис. Не любопытство. А страх.

— Ты возьмёшь меня с собой. Я хочу видеть, что ты снимешь. Я хочу быть рядом, когда ты это сделаешь. Потому что я тоже ищу. Как и ты.

— Что ищешь?

— Ответ.

— На какой вопрос?

— На тот, который ты себе ещё не задал.

Она ушла. Я слышал, как хлопнула входная дверь. Потом тишина.

Я сел за компьютер и открыл фотографию девушки с аварии. Смотрел на неё минуту, две, три. И впервые она показалась мне не шедевром. А черновиком. Разминкой перед настоящим матчем.

Мне нужен хоспис. Мне нужны люди на краю. Мне нужен момент выбора.

А самое главное — у меня появился зритель. Единственный. Тот, кто понимает без слов. Тот, кто не осуждает.

И это делало меня опаснее в десять раз.

Глава 5. Порог

Хоспис находился в двадцати километрах от города, но дорога заняла целую вечность. Может, потому что время в ноябре течёт иначе — густое, вязкое, как остывший мёд. Может, потому что каждая минута ожидания разогревала меня изнутри, как предстартовая лихорадка.

Вера сидела за рулём своего старого «Ниссана» и молчала. Её пальцы сжимали руль с той особой цепкостью, какая бывает у людей, привыкших держать ситуацию под контролем — или делать вид, что держат. Я сидел рядом, прижимая к коленям кофр с камерой, и смотрел, как за окном проплывает ноябрьский пейзаж. Серые поля, покрытые жухлой травой. Голые деревья, тянущие к небу скрюченные ветки, похожие на пальцы нищих. Покосившиеся заборы. Вороны на проводах — чёрные, неподвижные, как нотные знаки на нотном стане. Всё мёртвое. Всё подходящее.

— Они знают, что я приеду? — спросил я.

— Я предупредила. Сказала главврачу, что ты фотограф-волонтёр. Хочешь сделать серию портретов для благотворительной выставки. Фонд «Милосердие», сбор средств на новое оборудование.

— И они поверили?

— Люди верят в то, во что хотят верить. Администрации нужны деньги, новая вентиляция лёгких не помешает. Фотограф из города — потенциальный спонсор. Никто не будет задавать вопросы. Главное — не забудь поставить штамп «волонтёр» на лоб.

Я хмыкнул. Вера продумала всё. Это одновременно и успокаивало, и настораживало. Она слишком хорошо понимала, как работают такие вещи. Как просачиваться сквозь запертые двери. Как смотреть на запретное, прикрываясь благими намерениями. Словно всю жизнь только этим и занималась, а медицина была лишь прикрытием.

Хоспис оказался двухэтажным зданием из белого кирпича. Бывшая барская усадьба, перестроенная в советское время под больницу, а потом отданная под паллиативную помощь — так это называлось в документах. «Паллиативная помощь». Два слова, за которыми пряталась простая истина: здесь люди ждали смерти.

Снаружи здание выглядело почти уютно. Аккуратный сад с голыми клумбами, скамейки под старыми липами, мощёная дорожка, ведущая к крыльцу. Даже детская площадка — маленькая, с одной качелей и песочницей, засыпанной палыми листьями. Для внуков, которые приезжают навещать. Или уже не приезжают.

Но внутри — внутри всё было иначе.

Как только дверь за нами закрылась, меня ударил запах. Не хлорка, как в городской больнице. Не спирт, не лекарства. Что-то другое. Сладковато-кислый, с примесью морфина, старой ткани и ещё чего-то, чему я не мог подобрать названия. Запах тел, которые перестали бороться. Запах времени, которое течёт к концу.

Вера поймала мой взгляд и ухмыльнулась.

— Это морфин. И ещё — застарелая боль. К ней не принимаешься, но со временем перестаёшь замечать.

Мы прошли через холл. На стенах висели картины — детские рисунки в дешёвых пластиковых рамках. Солнышки с кривыми лучами. Цветочки, похожие на взрывы. Человечки с улыбками до ушей, нарисованные неуверенной рукой. Благотворительная акция местной школы. Дети рисовали «счастье» для тех, у кого его почти не осталось. Дикий, разрывающий контраст с тем, что происходило за дверями палат.

Медсестра на посту — пожилая женщина с усталым лицом и крашеными в рыжий цвет волосами — подняла голову, кивнула Вере и скользнула по мне равнодушным взглядом. Волонтёры здесь были не в новинку. Волонтёры приходят и уходят. Пациенты — тоже.

— Палаты на втором этаже, — сказала Вера, пока мы поднимались по скрипучей лестнице. — Там лежачие. Внизу — те, кто ещё ходит. Общая гостиная, столовая, комната для молитв. Днём они собираются в гостиной. Смотрят телевизор, играют в лото. Или просто сидят и смотрят в стену.

— Кто — они?

— Постояльцы. Так их здесь называют. Не пациенты, не больные. Постояльцы. — Она выделила это слово голосом, как выделяют важный термин на лекции. — Потому что они здесь живут. До конца.

Мы поднялись на второй этаж. Здесь было тише. Пахло лекарствами и ещё чем-то — может быть, молитвами, может быть, безнадёжностью. Вера остановилась у третьей двери. Табличка на ней отсутствовала — только след от скотча и номер, нацарапанный шариковой ручкой.

— Михаил Степанович. Шестьдесят четыре года. Рак лёгких, четвёртая стадия, метастазы в позвоночник. Прогноз — месяц, может, два. Он знает.

— Что значит «знает»?

— Ему сказали. Здесь не врут. Это политика хосписа — честность до конца. Он знает, что умирает. Он думает об этом каждый день. Он смотрит в потолок и решает.

Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Решает. То самое слово. То, ради чего я сюда приехал.

— Можно мне войти?

— Можно. Но сначала послушай меня, Алексей.

Вера повернулась ко мне. Встала так, что я не мог пройти мимо. Её серые глаза смотрели жёстко, без тени улыбки. Так смотрят хирурги перед операцией, когда объясняют пациенту риски.

— Этот человек — не экспонат. Не зверь в зоопарке. Не персонаж твоей галереи. Он прожил жизнь — длинную, трудную, настоящую. У него есть дети. Внуки. Он заслужил уважение. Ты можешь снимать, но только если он согласится. Если попробуешь сделать это тайком — я тебя сдам сама. Понял?

— Понял.

— И ещё. Когда будешь с ним говорить — не ври. Он умирает, но он не дурак. Умиряющие чувствуют ложь за версту. Они как собаки: слышат запах фальши раньше, чем ты откроешь рот.

Я поправил камеру на шее и открыл дверь.

В палате было светло — окно выходило на южную сторону, и скупое ноябрьское солнце лежало на полу жёлтыми квадратами. У стены стояла вторая кровать, пустая и аккуратно заправленная, с колючим казённым покрывалом. У тумбочки — букет искусственных цветов в стеклянной вазе, фотографии в рамках и стопка книг с потрёпанными корешками. Пахло лекарствами и свежим бельём.

А у окна, в кресле-каталке, сидел человек.

Он был худой — настолько, что больничная пижама висела на нём, как на вешалке. Ключицы выпирали, кожа на скулах была натянута так туго, что, казалось, вот-вот порвётся. Под глазами залегли тёмные круги — не просто синяки, а глубокие провалы, какие бывают у людей, которые давно не спят или уже одной ногой там.

Но взгляд — взгляд был живой. Не угасший. Цепкий, оценивающий, с той особой ясностью, какая приходит к людям, когда всё лишнее уже отпало.

— Михаил Степанович? — спросил я.

— Допустим. — Голос был хриплым, но спокойным. — А вы, стало быть, фотограф? Вера предупредила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.